

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Москва, 1970-е годы

В 1971 году журналист Виталий Блинов готовил для газеты «Неделя» беседу с известным артистом-телепатом Вольфом Григорьевичем Мессингом. Интервью пролежало почти два года, и в 1973 году главный редактор «Недели» Валентин Архангельский заверил Виталия, что материал стоит в номере, но нужно еще раз получить визу его собеседника. Все-таки прошло два года. И Блинов снова отправился к Мессингу. Эту встречу журналист запомнил на всю жизнь...

...Дверь ему открыл сам Мессинг, пожилой мужчина с улыбчивым, но утомленным лицом. Широкий лоб с глубоко врезавшимися морщинами, зачесанные назад темные, курчавые, с густой проседью волосы. Лицо не старое, но немногие морщины столь глубоки и рельефны, что невольно приходила мысль: этому человеку довелось пережить немало.

— Вольф Григорьевич, добрый вечер. Это я вам звонил час назад. Я Виталий Блинов.

— Могли бы этого и не говорить, — улыбнулся Мессинг. — Я знал, что вы мне позвоните, еще месяц назад.

— Простите, забыл, с кем имею дело...

Они прошли по освещенному короткому коридору и вошли в кабинет. Мессинг предложил гостю сесть в кожаное кресло неподалеку от письменного стола, заваленного множеством бумаг и газет, включил настольную старинной бронзы лампу со стеклянным зеленым абажуром и сказал с мягкой улыбкой:

— Я даже могу назвать причину вашего визита. Вам нужно повторно завизировать интервью, которое я дал вам два года назад?

— Мне остается только развести руками... — удивленно произнес Виталий и действительно развел руками.

— Давайте интервью...

Журналист протянул свернутые в трубку листы. Мессинг взял их и, проглядывая, сел за стол, предложил:

— Хотите курить? Курите. Пепельница рядом с вами на столике.

Блинов вновь, не скрывая удивления, покачал головой, достал сигарету и щелкнул зажигалкой, прикуривая.

Мессинг быстро пробежал глазами строчку за строчкой, отложил один лист, потом другой... третий... Потом взял авторучку и сказал:

— Автограф оставляю. Только вы зря нервничаете. В последний момент нашу беседу снимут без объяснения причин, статью вы опубликуете лет через двадцать, если, конечно, останется такое издание, как «Неделя». А меня уже на этом свете не будет...

— Не понимаю, Вольф Григорьевич... впрочем, что я спрашиваю... просто невероятно... Почему интервью снимут? Мне главный сообщил, оно уже поставлено в номер. Почему его должны снять? — заволновался Виталий.

— Этого я сказать вам не могу, — расписываясь, ответил Мессинг.

— Странно, что вы этого не знаете...

— Знаю. Но говорить не хочется. Вас это не касается, поверьте... — Вольф Григорьевич поднял голову и с улыбкой протянул журналисту подписанные листы. — Хотите кофе?

...Он оказался прав, этот загадочный телепат... За два часа до подписания номера газеты в набор материал сняли по приказанию главного редактора без каких-либо объяснений. И опубликовали это интервью ровно через двадцать лет, как Мессинг и говорил. Опубликовали в «Неделе». Главный редактор Станислав Сергеев сказал Виталию, что это последний номер, еженедельник закрывают... Через год его открыли снова... А самого Вольфа Григорьевича уже давно не было в живых.

Виталий Блинов встречался с этим человеком не однажды и каждый раз во время разговора боялся смотреть ему в глаза. Его пугала глубина этих глаз... страшная, пугающая глубина бездонного омута...

Польша, конец 1939 года, через пару месяцев после вторжения германских войск

Вторжение германских войск в Польшу... Немецкие войска, не встречая сопротивления, переходят границу... Самолеты со свастикой на крыльях кружат над Варшавой, пикируют вниз. Сыплются бомбы... По улицам города в панике мечутся жители... Маршируют колонны немецкой пехоты. В строю — улыбающиеся, довольные солдаты... С грохотом движутся колонны танков с крестами на броне. На головном танке развеивается штандарт с черной свастикой... Бредут понурые пленные — польские солдаты и офицеры...

...Вместе со своим многолетним импресарио Питером Цельмейстером и его помощникомлевой Кобаком Мессинг почти сутки ехал по проселочным дорогам. Моросил мелкий ледяной дождь, шуршал по крыше кареты, копыта лошадей чавкали и хлюпали по непролазной грязи. Лева Кобак молча курил, Цельмейстер нервничал, то и дело смотрел на светящийся в полумраке циферблат часов. Вольф Мессинг дремал, прикрыв глаза, забившись в угол кареты, которую то и дело встряхивало и раскачивало из стороны в сторону.

Цельмейстер вдруг наклонился к Мессингу, спросил зло и настойчиво:

— Ты знал, что это будет? Скажи, пророк чертов?! Ты знал, что будет такое? Почему молчал?

— Нет, не знал... я видел только войну... и говорил о ней... Нет, Питер, прости... не мог знать... — Мессинг закрыл глаза и добавил с болью, исказившей его лицо: — Такое мог знать только Господь Бог...

— Да на кой черт мне нужен такой Господь! — выругался Цельмейстер. — Я и раньше в него не верил, а теперь тем более!

Кучер, правивший парой лошадей, накрыв голову кулем из рогожи, постучал в стенку кареты и, когда дверца приоткрылась, сказал громко по-польски:

— Подъезжаем, панове! А вдруг там немцы?

— Какие немцы?! — рывкнул Цельмейстер. — Что им делать в этой глухомани!

— Темно чего-то... огней не видать! — произнес кучер.

— Прячутся люди, не понимаешь, что ли? — зло прокричал Цельмейстер и захлопнул дверцу.

Карета въехала в местечко Гора-Кальвария. Действительно, дома по обе стороны улицы стояли черные, без единого огонька. Даже собаки не лаяли.

— Остановись! — открыв дверцу, крикнул Вольф, и кучер послушно натянул вожжи. Лошади встали.

Мессинг прыгнул в грязь, не жалея лакированных ботинок, и зашагал в темноту.

— Ну куда ты, Вольф? Мы бы подъехали прямо к дому! — крикнул вслед Цельмейстер. — Охота по грязи шлепать?

Не услышав ответа, он махнул рукой, тоже спрыгнул в грязь и пошел вслед за Мессингом.

Из кареты молча высунулся Лева Кобак и тоже спрыгнул на дорогу. Покрутил головой, обернулся и сказал кучеру:

— Янек, поищи пока кого-нибудь. Должны же быть жители.

Кучер вздохнул, поправил куль из рогожи и потянул вожжи. Лошади медленно тронулись.

Они подошли к дому. Трухлявый, полусгнивший забор местами вовсе повалился, калитка была сорвана и валялась в стороне. А вот и яблоневый сад. Намокшие яблони низко опустили отяжелевшие от яблок ветви к самой земле. Вольф Мессинг пошел по тропинке, вдруг остановился, оглядывая яблоневый сад и почерневший от дождя дом в глубине сада. Память прошлого сдавила сердце. Вольф закрыл глаза, ладонями провел по мокрому от дождя лицу...

Старая Польша, 1911 год

Местечко Гора-Кальвария в Польше — место уж вовсе забытое богом. Дороги — сплошное месиво грязи, где без сапог пройти немислимо, по бокам этой широченной, разбитой десятком глубоких колея грунтовки стояли перекошенные в разные стороны, словно пьяные, домишки с подслеповатыми окошками и полусгнившими плетнями. На шестах сушились пустые горшки и кубаны, висело выстиранное тряпье — рубашки, кальсоны, юбки и портянки.

Но сейчас была ночь, и большущая луна, бледно-зеленая, словно лицо мертвеца, стояла в середине пустого, сизого цвета небосвода. Изредка взбредивали собаки, начинали подвывать длинно и тоскливо, потом вновь наступала глубокая вековая тишина.

Волик спал на полу у печки на большом ватном матрасе вместе с братом и двумя сестрами, и укрывались они одним одеялом. Волик и сам не понял, почему проснулся. Худенький мальчик лет десяти, он поднялся, откинув край одеяла, встал и медленно пошел через комнату, вытянув перед собой тонкие ручонки. Глаза у него были закрыты, и выражение лица — как у спящего человека. Волик медленно прошел по комнате к окну, открыл его и взобрался на

подоконник. Постоял, обратив лицо к луне, большой и яркой, заливавшей землю зеленоватым светом. Мальчик протянул к ней руки. Он стоял на самом краю подоконника: одно неловкое движение — и он рухнет вниз, на завалину, откуда торчат острые колья. Но он стоял не двигаясь и тянул руки к луне.

Сзади тихо подошла мама Сара, осторожно обняла мальчика за плечи, другой рукой взяла под коленки и понесла обратно в постель, прижав к груди. Она уложила его на матрас на полу, рядом с братом и сестрами, села рядом и долго сидела неподвижно, лишь рука ее гладила мальчика по голове, словно успокаивая...

— Что это, ребе, я никак в толк не возьму? Неужели он лунатик? — с тревогой говорила Сара, глядя на раввина страдальческими глазами.

— Ну и что, если лунатик? — спокойно ответил раввин. — Мало ли чего бывает на свете, Сара? Лунатики тоже люди, и даже очень хорошие люди, ничем не хуже нас. — Он улыбнулся.

— Ну почему он ходит? Стоит и руки к луне протягивает, будто молится, это же страшно, ребе.

— Что же тут страшного? Манера у них такая, Сара, по ночам ходить... Луна их притягивает.

— Кого это их? — со страхом спросила Сара.

— Лунатиков. Да ты не пугайся, Сара, среди евреев лунатики не новость.

— Мне-то каково с ним, ребе? — покачала головой Сара.

— А утром ты спрашивала у него, что он ночью делал?

— Спрашивала. Он ничего не помнит.

— И очень хорошо. И ты ему не напоминай. Лунатики воды боятся — ты ему перед окном воду в тазике на пол поставь. Он как в окно полезет, обязательно в тазик наступит и сразу очнется, — посоветовал раввин.

— Откуда ты знаешь, ребе?

— Сара, я так долго живу на свете и так много видел, — вздохнул раввин. — Меня трудно чем-то удивить. Разве что хорошей выпивкой и закуской.

— Да ты не больше меня живешь на свете, ребе.

— Я с Богом общаюсь, Сара, а это очень старит человека... человек хоть и мудреет, но очень быстро старится... Так что живи и радуйся, Сара... А ты в школу его определила?

— Так ведь далеко школа, ребе. Куда такому маленькому семь верст пешком... да еще через лес... через кладбище... Вот он и не хочет в школу.

— Надо, чтоб захотел, — сказал раввин и вдруг усмехнулся: — Хочешь, помогу?

— Всегда на твой совет и помощь надеемся, ребе. На кого же еще надеяться?

Польша, 1939 год, немецкая оккупация

— Вольф, ты оглох, что ли? — кричал Цельмейстер, стоя на крыльце дома. Входная дверь косо висела на одной петле.

— Что? Извини... Что там? — очнувшись, спросил Вольф Мессинг и пошел по тропинке к дому.

— Никого нет! — громко проговорил Цельмейстер. — Разбросанные вещи... побитая посуда... Они, наверное, уехали, Вольф.

— Куда они могли уехать? Им некуда ехать. — Мессинг поднялся на крыльцо и вошел в дом.

Действительно, в комнатах повсюду были разбросаны вещи, под ногами хрустели осколки посуды, дверцы от буфета валялись на полу, ящики выдвинуты и пусты.

Вольф стоял посреди комнаты, растерянно оглядывался, и вновь сердце защемило от воспоминаний...

Старая Польша, 1911 год

Единственное, чего много было в Гора-Кальварии, — это солнца. Оно заливало убогое местечко жаркими лучами, и поэтому лопухи и крапива вдоль плетней и штакетников росли неистово, буйно, захватывая и пешеходные тропинки, и прополотые грядки с огурцами, помидорами и картошкой.

У Гришки Мессинга был большой яблоневоый и вишневоый сад, в котором с утра до темноты трудилась вся его семья, кроме самого Григория. Мать семейства Сара носила на коромысле ведра с водоой. Босые ноги утопали в жидкой грязи выше щиколоток, ступали осторожно, тяжело. Она сворачивала с дороги и шла к дому, огибала палисадник и по тропинке входила в сад. Устало ставила ведра на землю и утирала пот с лица. Здесь было прохладней — широко раскинулись густые кроны старых яблонь и вишен. К ведрам бежали дети — Волька, Семка, Сонька и Бетька. Вольке десять лет, и он самый старший. В руках у ребятишек — большие жестяные лейки. Они окружили ведра и стали набирать в лейки воду. Мать осторожно наливала, поднимая ведро все выше и выше. Наконец ведра опустели, малышня разобрала свои лейки и медленно двинулась к яблоням и вишням, чтобы полить взрыхленную вокруг стволов землю.

А мать подняла коромысло с пустыми ведрами и вновь пошла к калитке месить босыми ногами черноземную грязь. Она подошла к колодезному срубу, поставила ведра на землю и начала крутить тяжелый деревянный барабан с металлической цепью, опуская пустое ведро вглубь, за водоой.

Наполнив водоой ведра, Сара зацепила их за крючки коромысла, подняла тяжелую ношу, уложила коромысло на плечи и, наклонив голову, пошла обратно к дому.

— Мама, я больше не могу! — закричал самый маленький, Семка. — У меня руки болят!

— И у меня болят! — подхватила Сонька.

— Я тоже устала, деточки мои! — ответила Сара, опуская ведра на землю. — Но если мы не будем поливать яблони и вишни, будет плохой урожай... У нас даже не хватит расплатиться за аренду этого проклятущего сада. Кто об этом должен думать, я или ваш проклятый папаша? Об чем такой папаша только думает? Об хлопнуть рюмку водки и об дать кому-нибудь по морде...

Григорий Мессинг сидел в шинке и был уже основательно пьян. По лысой голове и мясистому лицу стекали капли пота, жилетка расстегнута, рукава грязной рубахи завернуты по локти.

Он сидел в компании двоих таких же людей. И одеты они были одинаково бедно, и пьяны тоже одинаково. В полутемном шинке стояло еще несколько столов, за которыми сидели такие же посетители. Тучи жирных мух жужжали над ними, над кусками вареной курятины, помидорами и солеными огурцами. Разговаривали все на смешанном польско-украинском диалекте, хотя мелькали в разговоре и русские слова.

— Тебе, Гришка, хорошо! У тебя сад вон какой! По осени урожай-то соберешь, продашь — вот и зиму, и весну с прибытком будешь.

— Э-э, Моня-балабоня! Твои слова да в жопу нашему равнину! Как я продам урожай, ка-ак?! Пока до Варшавы довезешь — сколько денег раздать надо? А где они у меня? Тут яблочко полушку стоит, а пока до Варшавы довезешь — оно и гривенник будет стоить! Уряднику дай, квартальному дай, городовому лапу позолоти! Да еще бандиты на базаре мзду свою требуют! А кто за гривенник покупать будет? И получается — себе в убыток торгуешь! А перекупщику разом урожай отдать — и вовсе без штанов останешься. А чем аренду платить? Уж два года в должниках хожу, будь она проклята — жизнь эта! Э-э, да что там толковать-то!

— Душат нас, душат... — качал головой Моня. — На что завтра жить? А ведь я только и слышу от поляков и русских: вы сами во всем виноваты! Господи, ну почему во всем виноваты только евреи!

— Почему мы одни?

— А кто еще-то?

— Еще армяне во всем виноваты! И эти... как их?... студенты! Поляки так говорят... — покачал головой Григорий.

— И эти... как их? Русские! — засмеялся Моня.

— А ты горилку не пей, вот и на завтра гроши будут, — засмеялся третий собутыльник. — А по мне — гори оно все огнем ясным! Будет день — будет пицца! Господь не оставит...

Моня проворно схватил штоф из темного стекла и разлил по кружкам горилку. Чокнулись, выпили, шумно задышали, стали закусывать курятиной, грызли дольки чеснока, ели помидоры.

— Господи-и! — вдруг прошамкал с набитым ртом Григорий Мессинг и ударил кулаком в грудь. — Ну зачем ты уродил меня евреем?! За какие такие грехи моих предков?

— А ежели б он тебя негром уродил? — с ехидцей спросил Мона.

— Да хоть китайцем! — рявкнул Григорий. — Хоть папуасом! У меня вон четверо голодных ртов есть просят! Как их прокормить, ка-ак?

Собутыльники рассмеялись, Мона стал вновь разливать по кружкам горилку. Рядом с шинкарем запела скрипка. Тощий, в белой рубашке и бархатной жилетке скрипач, согнувшись и улыбаясь, начал пиликать на старенькой скрипке знакомую мелодию «Семь сорок», и весь шинок встрепенулся. Бородатые и небритые, в картузах и камилавках, мужики заулыбались, начали в такт пристукивать по столам ладонями, а какой-то пожилой еврей вскочил и стал плясать. А скрипач все убыстрял мелодию, и танцор все быстрее перебирал ногами в стоптанных башмаках.

— Ле хаим, еврей! — крикнул пожилой еврей, крутя ладонью над головой, и тут же из-за столов выскочили еще трое и пустились в пляс.

В комнате горела керосиновая лампа, и язычок пламени колебался, облизывая закопченное стекло. Четверо детей сидели за столом, и перед каждым была маленькая тарелка. Еще на столе стояла глиняная миска с горкой моченых яблок и кубан с молоком.

Мама Сара большим ножом отрезала от темного каравае толстые ломти черного хлеба, ставила перед Воликом... перед Семей... перед Соней... перед Бетей. Потом налила из кубана молока в кружки.

— Ешьте, мои хорошие, ешьте... — едва слышно сказала мама Сара.

И дети быстро и одновременно схватили ломти хлеба и стали жадно есть. Брала из миски моченые яблоки, откусывали и то и другое и торопливо ели, ели, ели...

Мама Сара отрезала еще один ломоть хлеба, потоньше, и тоже стала медленно есть, откусывая то хлеб, то яблоко. Она ела и смотрела на детей, и в ее глазах медленно закипали слезы.

Волик ел хлеб с яблоком, запивал молоком, потом опустил обкусанный ломоть под стол, отломил корку и спрятал ее в карман коротких штанов.

— Ешьте, деточки, ешьте... — тихо повторила мама Сара и тяжело поднялась из-за стола, пошла к печке.

Следом за ней, взяв два яблока, из-за стола выскользнул Волик и быстро вышел из комнаты.

Польша, 1939 год, немецкая оккупация

— Я говорю, ехать обратно надо! — голос Цельмейстера вернул Мессинга к действительности. — Если дождь не прекратится, дороги так развезет, что мы не проедем. Никакие лошади не вытащат. Ты слышишь, Вольф?

— Слышу, слышу... не кричи... — поморщился Мессинг и пошел из дома.

— Разве я кричу? — удивился Цельмейстер. — Я громко говорю, чтобы до тебя дошло! До тебя же все, что я ни говорю, доходит как до жирафа!

Они пошли по раскисшей тропинке через сад к калитке. Мессинг вдруг остановился, подошел к яблоне, поднял тяжелую, унизанную яблоками ветвь, уткнулся лицом в листву. Холодные капли воды покатались по лицу. Казалось, Мессинг плачет. Он оторвал большое яблоко, холодное, мокрое, медленно надкусил его и так же медленно стал жевать.

Старая Польша, 1911 год

В полумраке мальчик обогнул дом и вышел к небольшому хлеву, отворил тяжелую створку ворот, ступил внутрь. Куры, сидевшие на шесте рядом с сеновалом, обеспокоенно заквахтали, заходили по жердочкам. За невысокой загородкой стояла корова и мерно жевала. Ее большущие, с лиловым отливом глаза ярко блестели в полумраке.

— Здравствуй, Розка... — тихо сказал Волик и погладил корову по длинной морде, почесал за ухом. Корова шумно вздохнула. Волик достал из кармана несколько хлебных корок и поднес одну

на ладони. Корова ткнулась в ладонь большим мокрым носом, взяла корку, стала медленно жевать.

Волик вновь погладил корову по морде, тоже вздохнул и проговорил:

— Как жалко, Розка, что ты скоро умрешь... как жалко... — Он снова протянул ей корочку, и корова взяла ее. Волик поцеловал корову в морду возле огромного глаза, который, казалось, смотрел на него с благодарностью, повторил: — Как жалко...

За его спиной неслышно возникла фигура матери.

— Ты что тут делаешь? А ну спать быстро! Что ты тут бормочешь? Чего тебе жалко?

— Розу нашу жалко... Она умрет скоро, — тихо сказал Волик и вновь обнял шею коровы и сунул ей последнюю корочку.

Животное благодарно вздохнуло, принялось медленно двигать мощной челюстью, глядя на мальчика понимающим взглядом.

— Кто умрет? — всполошилась мама Сара. — Розка умрет? Кто тебе сказал эту гадость?! Соседи, да? Небось Мойша Губерман сказал? У этого старого пьяницы одни пакости на уме! О, Господи праведный, за что ты наказал меня?! Таким мужем и такими детьми! — Сара схватила Волика за руку и потащила из хлева, ругаясь на ходу. — Один в шинке последние гроши пропивает, другой пророком заделался! Розка умрет, тьфу, чтоб тебя! Да если Розка умрет, мы все с голоду подохнем! Что ты вздумал предсказывать, сволочи кусок! Что тебе в башку всякая дрянь лезет! Не-ет, это не Розка, это я скоро умру! Боженька заберет меня к себе, и избавлюсь я от этих мук! От этой нищеты! От пьяницы мужа! От детей-дураков! Если Розка умрет, я тебя до смерти прибью, Волик, заруби это себе на носу! Прибью! До смерти!

Бедный Волик молчал, тащился за матерью, морщился от боли, и слезы катились по его щекам.

А ночью Волик снова проснулся. Он встал с матраса с закрытыми глазами и медленно пошел через комнату к окну. Он шел медленно, вытянув перед собой руки. У стены под окном мать поставила небольшое деревянное корыто с водой. И Волик, по-

дойдя, ступил ногой в холодную воду и проснулся. Вздрыгнул, открыв глаза, испуганно посмотрел вокруг себя.

Тут же за его спиной возникла мама, подняла его на руки, прижала к себе, стала целовать в щеки и глаза, шептала:

— Не пугайся, мой дорогой... не пугайся, мой хороший... все у нас замечательно... пойдём спать, золотце ты мое...

— А почему там вода? — спросил Волик сонным голосом.

— А ты испугался?

— Нет... просто я спал, и мне сон снился, а как попал в воду — сон сразу исчез...

— А что тебе снилось?

— Снилось, что я в поезде еду... а потом большой город снился... будто я в этом городе... и очень есть хочется...

— Глупости какие, мой родной... — Мама уложила его рядом с братом на матрас. — Разве мы собираемся куда-нибудь ехать? Мы никуда не собираемся уезжать... Спи, золотце мое, спи спокойно... пусть тебе только хорошие сны снятся... — Она присела рядом на полу и гладила Волика по голове...

Утром Сара вымыла руки под рукомойником, перекинула через плечо чистое полотняное полотенце и пошла из дома в хлев.

Ребята и мрачный похмельный Григорий сидели за столом. Дети ели вареную картошку с мочеными яблоками, отец наливал из кувшина мутный рассол, пил из кружки и тяжело вздыхал.

Сара прошла к хлеву, открыла створку ворот и шагнула внутрь, громко приговаривая:

— Розочка, красавица ты наша! Кормилица ты наша! Радость ты наша ненаглядная! Я за молочком пришла. Дашь нам молочка, Розочка?

Сара прошла к загородке и оцепенела: Розки не было видно. Приглядевшись, она увидела, что корова лежит на боку, мордой к дверце, совершенно неподвижно.

— Роза... — прошептала Сара и кинулась к корове, открыв дверцу. Рухнула на колени, стала гладить морду коровы, шею, приговаривая: — Роза... Розочка... Господи, Пресвятая Богородица! Да что это такое?! Померла! Померла-а-а!

Сара сорвалась на крик, вскочила и выбежала из хлева.

Перепуганно квохтали куры на насестах.

Раввин, Григорий Мессинг и его жена Сара молча рассматривали мертвую корову. Сзади переминались дети — Волик, Семка, Соня и Бетя.

— Как же так, ребе, ничем не болела и вдруг подохла? — удрученно спросил Григорий.

— Раз подохла, значит, чем-то болела — у Бога просто так никто не подыхает, — глубокомысленно изрек ребе.

— Ох, ребе, а мой Волик вчера сказал мне — Розка наша померет... Как вам это нравится, ребе? — И Сара посмотрела на раввина.

— Мне это совсем не нравится, — ответил ребе. — Почему он так сказал?

— А вы сами у него спросите, ребе, — посоветовала мама Сара. — Это уже не первый раз с ним такое!

— Что? — не понял ребе.

— Предсказывает, — шепнула на ухо ребе Сара. — В мае месяце сказал соседу Мойше Губерману, что у них скоро сарай сгорит. И что вы думаете, ребе? Через неделю сарай сгорел до последней досточки. — Сара хихикнула. — А Мойша до сих пор говорит, что это мы спалили его курятник, который и приличным сараем назвать нельзя... А вот помните, цирк приезжал? Так этот паршивец за неделю вдруг меня спрашивает: мама, а ты поведешь меня посмотреть на послушных медведей и собачек? Я уж подумала, умом тронулся. Какие собачки? Какие медведи? Где он тут у нас мог видеть медведей?

Ребе слушал трескотню Сары и смотрел на Волика мрачными черными глазами. Потом спросил:

— В синагогу детей водите? Талмуд читаете? Детям читаешь Талмуд? Что-то я не видел тебя, Сара, в синагоге с детьми!

— Хожу, ребе! Не сойти мне с этого места, хожу! — истово поклялась Сара.

— Но я вас там не видел ни разу, Сара, — уставился на нее ребе.

— Зато вы, ребе, часто моего мужа в шинке видите! — вспылила Сара. — Потому что пьянствуете с ним в этом проклятом шинке!

— Придержи язык, женщина! — грозно сдвинул лохматые черные брови раввин. — Знай свое место!

— У меня корова подохла! Хоть бы помолился за нас, ребе! Как мы жить теперь будем? Чем я детей накормлю? Конечно, разве тебя это интересует! Тебя больше интересует, сколько тебе денег принесут в синагогу! А потом ты в шинок пойдешь с моим обалдуем! Будете там горилку жрать и песни распевать!

— Тьфу! — сплюнул ребе и быстро пошел из хлева, на ходу обернулся, крикнул: — На месяц лишаю тебя посещения синагоги! — Пройдя несколько шагов, он снова обернулся и приказал: — Ну-ка, Волик, пойдём со мной.

Волик вышел из хлева, раввин обнял его за плечи, и они вместе пошли по тропинке к калитке.

— Ну-ка, скажи мне, пострел, а как ты узнал, что ваша Розка скоро умрет? Явление какое-то тебе было?

— Нет, не было... Я просто закрыл глаза и увидел нашу Розку мертвой, — ответил Волик.

— А почему ты увидел ее, а не что-нибудь другое? — допытывался раввин.

— Не знаю... я про нее всегда думал... я очень любил нашу Розу...

— Очень любил... — повторил негромко раввин, раздумывая. — И часто с тобой такое бывает? Ну, часто ты видишь будущее?

— Не знаю... Вот помните Мойшу Чертока? Все тогда думали, что он в реке утонул, а я подумал про него и увидел его на базаре в Варшаве, он там картошкой торговал.

— Помню Мойшу Чертока, помню... — пробормотал раввин.

— Я тогда сказал, что он живой, так все надо мной стали смеяться. А он к Новому году сам пришел. Помните, ребе?

— Помню, помню... А скажи мне, ты разве бывал на базаре в Варшаве?

— Нет, не бывал.

— А как же ты мог увидеть то, чего никогда не видел? Как ты узнал, что это Варшава?

— Не знаю... — растерянно ответил Волик.

— Ты не знаешь, и я не знаю... — вздохнул раввин.

Он открыл калитку, и они пошли по грязной улице, и рука раввина по-прежнему лежала на плече мальчика. За заборами брехали собаки, от низких, покосившихся домишек тянуло сы-

ростью и навозом, доносились крикливые голоса, посреди изъезженной широченной дороги блестели длинные лужи. Ветер захолустья и нищеты гулял по местечку.

— Слушай меня, мой мальчик, — вдруг заговорил раввин. — Господь дал тебе великий дар, и тебе будет тяжело жить с ним... Очень тяжело, но ты будешь жить и приносить большую пользу людям. Но ты... ты должен пообещать мне сейчас, что никогда, слышишь, никогда не будешь делать людям плохо... Обещаешь?

— Обещаю... — ответил Волик.

— Или Господь тебя самого страшно за это накажет... Тебе нужно уезжать отсюда, мальчик. Какое у тебя будущее в этом нищем, убогом местечке? Тут ни у кого нет будущего. А сколько великих, знаменитых евреев вышли из таких местечек! Потому что не побоялись и сами пошли навстречу своей судьбе. Пойдешь в школу? — вдруг спросил раввин и, остановившись, погладил Волика по голове.

— Не хочу...

— Почему?

— Далеко ходить... через кладбище ходить боюсь...

— Э-эх ты, а ведь уже взрослый мальчик...

— А что мне школа? — Волик поднял на раввина черные глаза. — Я и так читать и писать умею.

— Кто же тебя научил? — удивился раввин.

— Сам научился...

— Ладно, несносный еврейский мальчик, тебя не переспоришь, ступай домой. Мама Сара уже беспокоится.

— Дождалась? — зло глянул на Сару муж. — Э-эх, дура женщина... — И Григорий махнул рукой и тоже пошел из хлева за раввином, ругаясь на ходу: — Это все лунатик твой напророчил, чтоб его черти забрали! Предсказатель! Зачем мне такой ребенок нужен, а? А если завтра дом сгорит? Или я помру?! На луну насмотрелся, маленький негодяй! Прибью!

Сара всхлипнула, концом платка утерла слезы в углах глаз и тихо завывала. Дети стояли в стороне, боясь подойти к матери, молча смотрели на нее печальными глазами.

Вечером, после изнурительной работы, они вновь сидели за столом при свете керосиновой лампы, ели вареную картошку с хлебом и огурцами и запивали пустым чаем. В дом ввалился отец, сильно навеселе. В руке у него был зеленый штоф с горилкой.

Он молча прошел к столу, плюхнулся на свободный стул, с глухим стуком поставил штоф, при этом совсем не обращая внимания на детей и жену. Вытащил из кармана жилетки мешочек и брякнул им об стол. В мешочке звякнули монеты.

— Вот и все, что осталось от нашей Розки...

Сара проворно взяла мешочек со стола.

— Сколько здесь? — Она высыпала монеты на ладонь, быстро пересчитала. — Как? Всего три рубля и два гривенника? Гриша, разве ты торговец? Ты просто кусок дурака!

— А за сколько, по-твоему, можно продать мясо коровы, которая не была забита, а померла неизвестно от чего, за сколько?

— Разве на эти деньги мы сможем купить телочку? — вместо ответа спросила Сара и сама себе ответила: — На эти деньги можно купить только полудохлую козу. Ты, наверное, пропил рублей пять? Признавайся, подлый пьянчужка! Вместе с ребе пропил, да?

— М-м-м! — громко замычал Григорий, встал, открыл застекленный буфет и достал оттуда граненый стограммовый лафитник, снова плюхнулся за стол и налил в лафитник водки.

— Ле хаим, еврей! — выдохнул он и махом выпил.

— Какой ты еврей? — вздохнула Сара и погладила Волика, который сидел к ней ближе всех, по головке. — Кацап паршивый! Или того хуже — хохол нахальный... упаси меня, Боже, от таких евреев. Позор, и больше ничего... ни продать, ни купить не умеет — разве это еврей?

— Цыц! — Григорий грохнул кулаком по столу, взял соленый огурец из миски и стал жевать. — Сколько денег в дом ни приноси, тебе все будет мало! Ненасытна алчность женская, сказал Соломон! Не могу я прокормить такую ораву! Вот его спроси, почему померла корова? — Отец ткнул пальцем в Волика. — Пусть он скажет! А что он завтра нам напроорочит? Все помрем? Чтоб завтра же отправлялся в хедер!

— Я не хочу в хедер, — сказал Волик. — Там плохо... там розгами бьют.

— Бьют, зато жрать дают! — возразил Григорий. — Ребе обещал тебя на казенный кошт определить! Хотя одним голодным ртом меньше! Нету у меня возможностей тебя кормить, нету! Что зенки вылупил? Небось меня похоронить собрался? Пшел вон отсюда! Завтра в хедер не пойдешь — домой не приходи, лунатик чертов! Прибью! — И отец замахнулся на Волика кулаком.

Волик опрометью выскочил из дома.

— Рятуйте, люди добрые! Идиот! Пьяный идиот мой муж! — взвыла Сара.

Мальчик шел по вечернему местечку. Тепло светили желтые огни в окнах домишек, бляели козы и протяжно мычали коровы, доносились человеческие голоса. Кривой, похожий на ятаган серпик серебристой луны висел над домами. Совсем рядом за покосившимся забором громко захрюкала свинья, потом женский голос сказал со злобой:

— Зарублю я тебя, сволочь! И дом подожгу! И пойду куды глаза глядят! Тут счастья нету — в другом месте обязательно встретится!

И вдруг из-за поворота навстречу Волику вышел огромный бородатый мужик в длиннополом пиджаке, картузе со сломанным козырьком, в грязных высоких сапогах. Он поднял над головой длинные руки и зарычал низким гулким голосом:

— Мальчи-и-ик! Ступай в школу-у учиться! Немедленно ступай! Ослушаешься меня, в пруду утоплю-у!!

Волик шархнулся от мужика, споткнулся и растянулся в грязи. Потом вскочил и побежал, не разбирая дороги...

Польша, 1939 год, немецкая оккупация

Они вышли на дорогу, остановились. Продолжал шуршать мелкий дождь.

— А где карета? — оглядываясь, спросил Цельмейстер. — Неужели он нас бросил, подлец?!

— Я послал его поискать кого-нибудь из жителей, — сказал Лева Кобак. — Да вон он едет! Вон, видите?

Из темноты показались лошади и темная коробка кареты. Лошади медленно приближались.

— Ну что, Янек? Удалось что-нибудь узнать?

Когда лошади поравнялись с людьми, кучер потянул вожжи. Потом медленно слез на землю, высморкался, снял с головы рогожный куль.

— Ну говори же, пень волосатый! — не выдержал Цельмейстер.

— А чего говорить-то? Немцы тут были... какая-то зондеркоманда. Всех евреев угнали. Другие разбежались куда глаза глядят.

— Куда угнали? — спросил Мессинг.

— Сказали, в Варшаву...

— Кто сказал? Да говори же ты, дьявол! — заорал Цельмейстер. — Каждое слово из него клещами вытаскивать надо!

— Там два старика прячутся. В лесу живут. Пришли посуды кой-какой собрать да хлеба по пустым домам пошукать... Они и рассказали...

— А много их там попряталось? В лесу? — спросил Мессинг.

— Да нет. Сказали, человек пятнадцать... Тех, кто в гетто не хотел и прятался, немцы два дня искали. Постреляли много народу...

— Постреляли? — вздрогнул Лева Кобак. — За что?

— Лева, вы давно взрослый человек, а продолжаете задавать идиотские вопросы, — раздраженно ответил Цельмейстер. — Вольф, надо ехать... Я уверен, ты найдешь их всех в Варшаве... живых и здоровых.

Вольф Мессинг не отвечал, стоял и расширившимися глазами смотрел в темноту. Дождевые капли стекали по его лицу, пальто на спине и плечах блестело от воды.

Старая Польша, 1911 год

Волик остановился, послушал, но страшный голос бородатого человека больше не был слышен.

Он дошел до шинка. Его окна были ярко освещены, доносились пьяные голоса и бойкая мелодия, которую наигрывали на скрип-

ке, в окнах мелькали черные тени. Потом из дверей в темноту вывалились два пьяных мужика и пошли, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Волик стоял неподалеку и смотрел на освещенные окна шинка. Вдруг он круто развернулся и пошел прочь.

...Мальчик пришел на станцию. Одинокий фонарь светил над маленьким станционным строением. На дощатом перроне на двух деревянных сундуках с навесными замочками сидели толстая женщина и трое ребятишек — ровесники Волика. Мужчина в длинном черном пальто одиноко стоял под фонарем и курил папиросу. Над ним была видна покосившаяся вывеска с надписью «ГОРА-КАЛЬВАРИЯ».

В станционном строении светилось всего одно окно. Из дверей вышел пожилой усатый железнодорожник в черном кителе и фуражке, сказал сипло:

— Санкт-петербургский прибывает... Стоянка пять минут...

И в ночи, будто в подтверждение его слов, раздался протяжный гудок паровоза. Во тьме появился живой красный глаз. Он иногда мерцал, но становился все ярче и больше, и скоро донеслись перестук колес по рельсам и частые вздохи паровоза.

Волик заворожено смотрел во тьму на этот красный глаз, который быстро приближался.

И вот черный промасленный паровоз промелькнул мимо Волика, его обдало облаком пара и дыма, и пошли вагоны с рядом освещенных окон. Поезд медленно останавливался. Из станционного строения вышли несколько человек — два господина и дама, которая несла на руках болонку. Здоровенный детина нес за ней кожаный кофр и несколько картонок. Все они направились к одному вагону первого класса. Толстая женщина, подхватив свои сундуки, засемила к другому вагону, в конце поезда, и детишки затопотали за ней, как цыплята за курицей.

Волик стоял и смотрел на освещенные окна — за ними мелькали люди, смутно доносилась патефонная музыка, голоса, женский смех.

Наконец все пассажиры погрузились в вагоны, а Волик все стоял и смотрел.

Оглавление

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Москва, 1970-е годы	5
Польша, конец 1939 года, через пару месяцев после вторжения германских войск	6
Старая Польша, 1911 год	8
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	10
Старая Польша, 1911 год	10
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	14
Старая Польша, 1911 год	14
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	21
Старая Польша, 1911 год	22
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	26
Варшава, 1912 год	27
Гора-Кальвария, 1913 год	36

ГЛАВА ВТОРАЯ

Варшава, 1913 год	39
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	43
Берлин, 1913 год	46
Берлин, 1914 год	52
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	55
Вена, 1914 год	58
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	67
Вена, 1914 год	68
Вена, 1915 год	70
Вена, месяц спустя	72

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Париж, 1916 год	75
Варшава, 1939 год, немецкая оккупация	90
Где-то у берегов Южной Америки, 1918 год	94

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Буэнос-Айрес, 1918 год	112
Варшава, 1939 год, немецкая оккупация	113
Буэнос-Айрес, 1922 год	116
Варшава, 1939 год, немецкая оккупация	134
Южная Америка, 1923 год	138
Монтевидео, 1925 год	141

ГЛАВА ПЯТАЯ

Монтевидео, 1925 год	147
Москва, 1970-е годы	150
Куба, 1933 год	151

Варшава, 1939 год, немецкая оккупация	156
Марсель, 1936 год	164
Берлин, 1936 год	167
Марсель, 1936 год	168
Париж, 1936 год	174

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Париж, 1936 год	176
Польша, 1939 год, немецкая оккупация	185
Берлин, 1937 год	187
Дрезден, 1937 год	202

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Германия, 1937 год	214
Варшава, 1938 год	215
Гора-Кальвария, 1938 год	216
Варшава, 1938 год	219
Варшава, 1939 год	232
Польша, 1940 год, на границе с Советским Союзом	233
Советский Союз, 1940 год	235
Брест, 1940 год	243
Москва, 1940 год	246

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Москва, 1940 год	251
Минск, 1940 год	255
Москва, 1940 год	270
Минск, 1941 год	281

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Минск, 1941 год	291
Поезд идет на восток, лето 1941 года	294
Новосибирск, осень 1942 года	301
Новосибирск, декабрь 1942 года	316
Москва, декабрь 1942 года	325
Москва, 1943 год	329

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Москва, 1943 год	333
Москва, весна 1944 года	336
Москва, 1944 год	348
Восточный фронт, 1944 год	359
Москва, 1944 год	362

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Москва, лето 1944 года	376
Москва, начало 1945 года	379
Москва, 1946 год	390

Москва, 1953 год	404
Москва, 1956 год	405

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Москва, 1957 год	409
Москва, 1960 год	412
Москва, лето 1960 года	434
Москва, 1962 год	437
Москва, 1970-е годы	443